

Тошнота

Автор:

Жан-Поль Сартр

Тошнота

Жан-Поль Сартр

Эксклюзивная классика (АСТ)

Тошнота – это суть бытия людей, застрявших «в сутолоке дня». Людей – брошенных на милость чуждой, безжалостной, безотрадной реальности.

Тошнота – это невозможность любви и доверия, это – попросту неумение мужчины и женщины понять друг друга.

Тошнота – это та самая «другая сторона отчаяния», по которую лежит Свобода. Но – что делать с этой проклятой свободой человеку, осатаневшему от одиночества?..

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Жан-Поль Сартр

Тошнота

Это человек, не имеющий никакой значимости в коллективе, это всего-навсего индивид.

Л. – Ф. Селин. «Церковь»

Посвящается Бобру[1 - Бобр – дружеское прозвище Симоны де Бовуар.]

Jean-Paul Sartre

LA NAUSEE

Перевод с французского Ю. Яхниной

Печатается с разрешения издательства Editions Gallimard.

© Editions Gallimard, 1938

© Перевод. Ю.Я. Яхнина, наследники, 2012

© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

От издателей

Эти тетради были обнаружены в бумагах Антуана Рокантена. Мы публикуем их, ничего в них не меняя.

Первая страница не датирована, но у нас есть веские основания полагать, что запись сделана за несколько недель до того, как начат сам дневник. Стало быть, она, вероятно, относится самое позднее к первым числам января 1932 года.

В эту пору Антуан Рокантен, объездивший Центральную Европу, Северную Африку и Дальний Восток, уже три года как обосновался в Бувиле, чтобы завершить свои исторические разыскания, посвященные маркизу де Рольбону.

Листок без даты

Пожалуй, лучше всего делать записи изо дня в день. Вести дневник, чтобы докопаться до сути. Не упускать оттенков, мелких фактов, даже если кажется, что они несущественны, и, главное, привести их в систему. Описывать, как я вижу этот стол, улицу, людей, мой кiset, потому что ЭТО-ТО и изменилось. Надо точно определить масштаб и характер этой перемены.

Взять хотя бы вот этот картонный футляр, в котором я держу пузырек с чернилами. Надо попытаться определить, как я видел его до и как я теперь[2 - Одно слово пропущено. (Прим. издателей)]. Ну так вот, это прямоугольный параллелепипед, который выделяется на фоне... Чепуха, тут не о чем говорить. Вот этого как раз и надо остерегаться - изображать странным то, в чем ни малейшей странности нет. Дневник, по-моему, тем и опасен: ты все время начеку, все преувеличиваешь и непрерывно насилуешь правду. С другой стороны, совершенно очевидно, что у меня в любую минуту - по отношению хотя бы к этому футляру или к любому другому предмету - может снова возникнуть позавчерашнее ощущение. Я должен всегда быть к нему готовым, иначе оно снова ускользнет у меня между пальцев. Не надо ничего[3 - Одно слово зачеркнуто (не то «искажать», не то «измышлять»), другое, написанное сверху, совершенно неразборчиво. (Прим. издателей).], а просто тщательно и в мельчайших подробностях записывать все, что происходит.

Само собой, теперь я уже не могу точно описать все то, что случилось в субботу и позавчера, с тех пор прошло слишком много времени. Могу сказать только, что ни в том, ни в другом случае не было того, что обыкновенно называют «событием». В субботу мальчишки бросали в море гальку - «пекли блины», - мне захотелось тоже по их примеру бросить гальку в море. И вдруг я замер, выронил камень и ушел. Вид у меня, наверно, был странный, потому что мальчишки смеялись мне вслед.

Такова сторона внешняя. То, что произошло во мне самом, четких следов не оставило. Я увидел нечто, от чего мне стало противно, но теперь я уже не знаю, смотрел ли я на море или на камень. Камень был гладкий, с одной стороны сухой, с другой - влажный и грязный. Я держал его за края, растопырив пальцы, чтобы не испачкаться.

Позавчерашнее было много сложнее. И к нему еще добавилась цепочка совпадений и недоразумений, для меня необъяснимых. Но не стану развлекаться их описанием. В общем-то ясно: я почувствовал страх или что-то в этом роде. Если я пойму хотя бы, чего я испугался, это уже будет шаг вперед.

Занятно, что мне и в голову не приходит, что я сошел с ума, наоборот, я отчетливо сознаю, что я в полном рассудке: перемены касаются окружающего мира. Но мне хотелось бы в этом убедиться.

10 часов 30 минут[4 - Речь несомненно идет о вечере. Абзац, который за этим следует, написан гораздо позже предыдущих. Мы полагаем, что запись сделана не раньше чем на другой день. (Прим. издателей).]

В конце концов, может, это и впрямь был легкий приступ безумия. От него не осталось и следа. Сегодня странные ощущения прошлой недели кажутся мне просто смешными, я не в состоянии их понять. Нынче вечером я прекрасно вписываюсь в окружающий мир, не хуже любого добропорядочного буржуа. Вот мой номер в отеле, окнами на северо-восток. Внизу – улица Инвалидов Войны и стройплощадка нового вокзала. Из окна мне видны красные и белые рекламные огни кафе «Приют путейцев» на углу бульвара Виктора Нуара. Только что прибыл парижский поезд. Из старого здания вокзала выходят и разбредаются по улицам пассажиры. Я слышу шаги и голоса. Многие ждут последнего трамвая. Должно быть, они сбились унылой кучкой у газового фонаря под самым моим окном. Придется им постоять еще несколько минут – трамвай придет не раньше чем в десять сорок пять. Лишь бы только этой ночью не приехали коммивояжеры: мне так хочется спать, я уже так давно недосыпаю. Одну бы спокойную ночь, одну-единственную, и все снимет как рукой.

Одиннадцать сорок пять, бояться больше нечего – коммивояжеры были бы уже здесь. Разве что появится господин из Руана. Он является каждую неделю, ему оставляют второй номер на втором этаже – тот, в котором биде. Он еще может притащиться, он частенько перед сном пропускает стаканчик в «Приюте путейцев». Впрочем, он не из шумных. Маленький, опрятный, с черными нафабранными усами и в парике. А вот и он.

Когда я услышал, как он поднимается по лестнице, меня даже что-то кольнуло в сердце – так успокоительно звучали его шаги: чего бояться в мире, где все идет заведенным порядком? По-моему, я выздоровел.

А вот и трамвай, семерка. Маршрут: Бойня – Большие доки. Он возвещает о своем прибытии громким лязгом железа. Потом отходит. До отказа набитый чемоданами и спящими детьми, он удаляется в сторону доков, к заводам, во мрак восточной части города. Это предпоследний трамвай, последний пройдет через час.

Сейчас я лягу. Я выздоровел, не стану, как маленькая девочка, изо дня в день записывать свои впечатления в красивую новенькую тетрадь. Вести дневник стоит только в одном случае – если...[5 - На этом недатированный текст обрывается. (Прим. издателей).]

Дневник

Понедельник, 29 января 1932 года

Со мной что-то случилось, сомнений больше нет. Эта штука выявилась как болезнь, а не так, как выявляется нечто бесспорное, очевидное. Она проникла в меня исподтишка, капля по капле: мне было как-то не по себе, как-то неуютно – вот и все. А угнездившись во мне, она затаилась, присмирела, и мне удалось убедить себя, что ничего у меня нет, что тревога ложная. И вот теперь это расцвело пышным цветом.

Не думаю, что ремесло историка располагает к психологическому анализу. В нашей сфере мы имеем дело только с нерасчлененными чувствами, им даются родовые наименования – например, Честолюбие или Корысть. Между тем, если бы я хоть немного знал самого себя, воспользоваться этим знанием мне следовало бы именно теперь.

Например, что-то новое появилось в моих руках – в том, как я, скажем, беру трубку или держу вилку. А может, кто его знает, сама вилка теперь как-то иначе дается в руки. Вот недавно я собирался войти в свой номер и вдруг замер – я почувствовал в руке холодный предмет, он приковал мое внимание какой-то своей необычностью, что ли. Я разжал руку, посмотрел – я держал всего-навсего дверную ручку. Или утром в библиотеке, ко мне подошел поздороваться

Самоучка[б - Ожье П... о котором часто упоминается в дневнике. Он был канцелярским служащим. Рокантен познакомился с ним в 1930 году в бувильской библиотеке. (Прим. издателей).], а я не сразу его узнал. Передо мной было незнакомое лицо и даже не в полном смысле слова лицо. И потом, кисть его руки, словно белый червяк в моей ладони. Я тотчас разжал пальцы, и его рука вяло повисла вдоль тела.

То же самое на улицах – там множество непрерывных подозрительных звуков.

Стало быть, за последние недели произошла перемена. Но в чем? Это некая абстрактная перемена, ни с чем конкретным не связанная. Может, это изменился я? А если не я, то, стало быть, эта комната, этот город, природа; надо выбирать.

Думаю, что изменился я, – это самое простое решение. И самое неприятное. Но все же я должен признать, что мне свойственны такого рода внезапные превращения. Дело в том, что размышляю я редко и во мне накапливается множество мелких изменений, которых я не замечаю, а потом в один прекрасный день совершается настоящая революция. Вот почему людям представляется, что я веду себя в жизни непоследовательно и противоречиво. К примеру, когда я уехал из Франции, многие считали мой поступок блажью. С таким же успехом они могли бы толковать о блажи, когда после шестилетних скитаний я внезапно вернулся во Францию. Я, как сейчас, вижу себя вместе с Мерсье в кабинете этого французского чиновника, который в прошлом году вышел в отставку в связи с делом Петру. А тогда Мерсье собирался в Бенгалию с какими-то археологическими планами. Мне всегда хотелось побывать в Бенгалии, и он стал уговаривать меня поехать с ним. С какой целью, я теперь и сам не пойму. Может, он не доверял Порталю и надеялся, что я буду за ним присматривать. У меня не было причин для отказа. Даже если бы в ту пору я догадался об этой маленькой хитрости насчет Порталю, тем больше оснований у меня было с восторгом принять предложение. А меня точно разбил паралич, я не мог вымолвить ни слова. Я впился взглядом в маленькую кхмерскую статуэтку на зеленом коврикe рядом с телефонным аппаратом. И мне казалось, что я весь до краев налился то ли лимфой, то ли теплым молоком. Мерсье с ангельским терпением, маскировавшим некоторое раздражение, втолковывал мне:

– Вы же понимаете, мне надо все официально оформить. Я уверен, что в конце концов вы скажете «да», так лучше уж соглашайтесь сразу.

У него была черная с рыжеватым отливом сильно надушенная борода. При каждом движении его головы меня обдавало волной духов. И я вдруг очнулся от шестилетней спячки.

Статуэтка показалась мне противной и глупой, я почувствовал страшную скуку. Я никак не мог взять в толк, зачем меня занесло в Индонезию. Что я тут делаю? Зачем говорю с этими людьми? Почему я одет в этот дурацкий костюм? Страсть моя умерла. Она заполняла и морочила меня много лет подряд – теперь я был опустошен. Но это еще не самое худшее: передо мной, раскинувшись с этакой небрежностью, маячила некая мысль – обширная и тусклая. Трудно сказать, в чем она заключалась, но я не мог на нее глядеть: так она была мне омерзительна. И все это слилось для меня с запахом, который шел от бороды Мерсье.

Я встряхнулся, преисполненный злобы на Мерсье, и сухо ответил:

– Спасибо, но я уже слишком давно разъезжаю, пора возвращаться во Францию.

И через два дня сел на пароход, идущий в Марсель. Если я не ошибаюсь, если все накапливающиеся симптомы предвещают новый переворот в моей жизни, скажу прямо – я боюсь. И не потому, что жизнь моя так уж богата, насыщена, драгоценна. Я боюсь того, что готово родиться, что завладеет мной и увлечет меня – куда? Неужели мне опять придется уехать, бросить, не закончив, все, что я начал – исследования, книгу? И потом через несколько месяцев, через несколько лет вновь очнуться изнуренным, разочарованным среди новых руин? Я должен разобраться в себе, пока не поздно.

Вторник, 30 января

Ничего нового.

С девяти до часа работал в библиотеке. Привел в порядок XII главу и все, что касается пребывания Рольбона в России до смерти Павла I. Эта часть работы закончена – к ней нужно будет вернуться только при переписке набело.

Сейчас половина второго. Сажу в кафе «Мабли», ем сандвич, все почти в порядке. Впрочем, в любом кафе все всегда в порядке, и в особенности в кафе

«Мабли» благодаря хозяину мсье Фаскелю, на лице которого с успокоительной определенностью написано: «прохвост». Близится час, когда он уходит поспать, глаза у него уже покраснели, но повадка все такая же живая и решительная. Он прохаживается между столиками, доверительно наклоняясь к клиентам:

– Все хорошо, мсье?

Я с улыбкой наблюдаю его оживание – в часы, когда его заведение пусто, пустеет и его голова. С двух до четырех в кафе никого не остается, тогда мсье Фаскель сонно делает несколько шагов, официанты гасят свет, и сознание его выключается – наедине с собой этот человек всегда спит.

Но пока в кафе еще остается десятка два клиентов – это холостяки, невысокого ранга инженеры, служащие. Обычно они наспех обедают в семейных пансионах, которые зовут своей столовкой, и поскольку всем им хочется позволить себе шикнуть, они, пообедав, приходят сюда выпить по чашечке кофе и поиграть в кости. Они шумят, негромко и нестройно, – такой шум мне не мешает. Им тоже, чтобы существовать, надо держаться кучно.

А я живу один, совершенно один. Не разговариваю ни с кем и никогда; ничего не беру, ничего не даю. Самоучка не в счет. Есть, конечно, Франсуаза, хозяйка «Приюта Путейцев». Но разве я с ней разговариваю? Иногда после ужина, когда она подает мне кружку пива, я спрашиваю:

– У вас сегодня вечером найдется минутка?

Она никогда не говорит «нет», и я иду за ней следом в одну из больших комнат на втором этаже, которые она сдает за почасовую или поденную плату. Я ей не плачу – мы занимаемся любовью на равных. Она получает от этого удовольствие (мужчина ей нужен каждый день, и кроме меня у нее есть еще много других), а я освобождаюсь от приступов меланхолии, причины которой мне слишком хорошо известны. Но мы почти не разговариваем. Да и к чему? Каждый занят собой, впрочем, для нее я прежде всего клиент ее кафе.

– Скажите, – говорит она, стягивая с себя платье, – вы пробовали аперитив «Брико»? На этой неделе его заказали двое клиентов. Официантка не знала, пришла и спрашивает у меня. А это коммивояжеры, они, наверно, пили его в Париже. Но я, когда чего не знаю, покупать не люблю. Если вы не против, я

останусь в чулках.

В прежнее время, бывало, она уйдет, а я еще долго думаю об Анни. Теперь я не думаю ни о ком; я даже не ищу слов. Это перетекает во мне то быстрее, то медленнее, я не стараюсь ничего закреплять, течет, ну и пусть себе. Оттого что мысли мои не облакаются в слова, чаще всего они остаются хлопьями тумана. Они принимают смутные, причудливые формы, набегают одна на другую, и я тотчас их забываю.

Эти парни меня восхищают: прихлебывая свой кофе, они рассказывают друг другу истории, четкие и правдоподобные. Спросите их, что они делали вчера, – они ничуть не смутятся, в двух словах они вам все объяснят. Я бы на их месте начал мямлить. Правда и то, что уже давным-давно ни одна душа не интересуется, как я провожу время. Когда живешь один, вообще забываешь, что значит рассказывать: правдоподобные истории исчезают вместе с друзьями. События тоже текут мимо: откуда ни возьмись появляются люди, что-то говорят, потом уходят, и ты барахтаешься в историях без начала и конца – свидетель из тебя был бы никудышный. Зато все неправдоподобное, все то, во что не поверят ни в одном кафе, – этого хоть пруд пруди. Вот, к примеру, в субботу, часа в четыре пополудни, по краю деревянного настила возле площадки, где строят новый вокзал, бежала, пятясь, маленькая женщина в голубом и смеялась, махая платком. В это же самое время за угол этой улицы, насвистывая, сворачивал негр в плаще кремового цвета и зеленой шляпе. Женщина, все так же пятясь, налетела на него под фонарем, который подвешен к дощатому забору и который зажигают по вечерам. Таким образом здесь оказались сразу: резко пахнувший сырым деревом забор, фонарь, славная белокурая малютка в голубом в объятьях негра под пламенеющим небом. Будь нас четверо или пятеро, мы, наверно, отметили бы это столкновение, эти нежные краски, красивое голубое пальто, похожее на пуховую перинку, светлый плащ, красные стекла фонаря, мы посмеялись бы над растерянным выражением двух детских лиц.

Но одинокого человека редко тянет засмеяться – группа приобрела для меня на миг острый, даже свирепый, хотя и чистый смысл. Потом она распалась, остался только фонарь, забор и небо – это тоже было все еще довольно красиво. Час спустя зажгли фонарь, поднялся ветер, небо почернело – и все исчезло.

Все это не ново; я никогда не чурался этих безобидных ощущений – наоборот. Чтобы к ним приобщиться, довольно почувствовать себя хоть капельку одиноким – ровно настолько, чтобы на некоторое время освободиться от правдоподобия.

Но я всегда оставался среди людей, на поверхности одиночества, в твердой решимости при малейшей тревоге укрыться среди себе подобных – по сути дела, до сих пор я был просто любителем.

А теперь меня повсюду окружают вещи – к примеру, вот эта пивная кружка на столе. Когда я ее вижу, мне хочется крикнуть: «Чур, не играю». Мне совершенно ясно, что я зашел слишком далеко. Наверно, с одиночеством нельзя играть «по маленькой». Это вовсе не значит, что теперь перед сном я заглядываю под кровать или боюсь, что посреди ночи моя дверь вдруг распахнется настежь. И все-таки я встревожен: вот уже полчаса я избегаю СМОТРЕТЬ на эту пивную кружку. Я смотрю поверх нее, ниже нее, правее, левее – но ЕЕ стараюсь не видеть. И прекрасно знаю, что холостяки, которые сидят вокруг, ничем мне помочь не могут: поздно, я уже не могу укрыться среди них. Они хлопнут меня по плечу, скажут: «Ну и что, что в ней такого, в этой пивной кружке? Кружка как кружка. Граненая, с ручкой, с маленькой эмблемой – герб, в нем лопата и надпись «Шпатенброй».

Я все это знаю, но знаю, что в ней есть и кое-что другое. Ничего особенного. Но я не могу объяснить, что я вижу. Никому не могу объяснить. В этом все и дело – я тихо погружаюсь на дно, туда, где страх.

Среди этих веселых и здравых голосов я один. Парни вокруг меня все время говорят друг с другом, с ликованием обнаруживая, что их взгляды совпадают. Господи, как они дорожат тем, что все думают одно и то же. Стоит только посмотреть на выражение их лиц, когда среди них появляется вдруг человек с взглядом, как у вытащенной из воды рыбы, устремленным внутрь себя, человек, с которым ну никак невозможно сойтись во мнениях. Когда мне было восемь лет и я играл в Люксембургском саду, был один такой человек – он усаживался под навесом у решетки, выходящей на улицу Огюста Конта. Он не говорил ни слова, но время от времени вытягивал ногу и с испугом на нее смотрел. Эта нога была в ботинке, но другая в шлепанце. Сторож объяснил моему дяде, что этот человек – бывший классный надзиратель. Его уволили в отставку, потому что он явился в классы зачитывать отметки за четверть в зеленом фраке академика. Он внушал нам невыразимый ужас, потому что мы чувствовали, что он одинок. Однажды он улыбнулся Роберу, издали протянув к нему руки, – Робер едва не лишился чувств. Этот тип внушал нам ужас не жалким своим видом и не потому, что на шее у него был нарост, который терся о край пристежного воротничка, а потому, что мы чувствовали: в его голове шевелятся мысли краба или лангуста. И нас приводило в ужас, что мысли лангуста могут вращаться вокруг навеса, вокруг

наших обручей, вокруг садовых кустов.

Неужели мне уготована такая участь? В первый раз в жизни мне тяжело быть одному. Пока еще не поздно, пока я еще не навожу страх на детей, я хотел бы с кем-нибудь поговорить о том, что со мной происходит.

Странно, я исписал десять страниц, а правды так и не сказал – во всяком случае, всей правды. Когда сразу после даты я написал: «Ничего нового», я был неискренен – в действительности маленькое происшествие, в котором нет ничего постыдного или необычного, не хотело ложиться на бумагу. «Ничего нового». Просто диву даешься, как можно лгать, прикрываясь здравым смыслом. Если угодно, и в самом деле ничего нового не произошло, когда сегодня утром, выйдя из гостиницы «Прентания», по пути в библиотеку, я захотел и не смог подобрать валявшийся на земле клочок бумаги. Только и всего, это даже нельзя назвать происшествием. Но если говорить честно, меня оно глубоко взволновало – я подумал: отныне я не свободен. В библиотеке я тщетно старался отделаться от этой мысли. Решил убежать от нее в кафе «Мабли». Надеялся, что она рассеется при свете огней. Но она осталась сидеть во мне, гнетущая, мучительная. Это она продиктовала мне предшествующие страницы.

Почему же я о ней не упомянул? Наверно, из гордости, а может, отчасти по неумению. У меня нет привычки рассказывать самому себе о том, что со мной происходит, поэтому я не могу воспроизвести события в их последовательности, не умею выделить главное. Но теперь кончено – я перечел то, что записал в кафе «Мабли», и мне стало стыдно: довольно утаек, душевных переливов, неизъяснимого, я не девица и не священник, чтобы забавляться игрой в душевные переживания.

Рассуждать тут особенно не о чем: я не смог подобрать клочок бумаги, только и всего.

Вообще я очень люблю подбирать каштаны, старые лоскутки и в особенности бумажки. Мне приятно брать их в руки, стискивать в ладони, еще немного – и я совал бы их в рот, как дети. Анни просто из себя выходила, когда я за уголок тянул к себе роскошный, плотный лист бумаги, весьма вероятно выпачканный в дерьме. Летом и в начале осени в садах валяются обрывки выжженных солнцем газет, сухие и ломкие, как опавшие листья, и такие желтые, словно их обработали пикриновой кислотой. А зимой одни бумажки распластаны, растоптаны, испачканы, они возвращаются в землю. А другое, новенькие, даже

глянцевитые, белоснежные и трепещущие, похожи на лебедей, хотя земля уже облепила их снизу. Они извиваются, вырываются из грязи, но в нескольких шагах распластываются на земле – и уже навсегда. И все это приятно подбирать. Иногда я просто ощупываю бумажку, поднося совсем близко к глазам, иногда просто рву, чтобы услышать ее долгий хруст, а если бумага совсем мокрая, поджигаю ее, что вовсе не так просто, и потом вытираю грязные ладони о какую-нибудь стену или ствол.

И вот сегодня я загляделся на рыжеватые сапоги кавалерийского офицера, который вышел из казармы. Проследив за ними глазами, я заметил на краю лужи клочок бумаги. Я подумал: сейчас офицер втопчет бумажку сапогом в грязь – а нет, он разом перешагнул и бумажку и лужу. Я подошел ближе – это оказалась страница линованной бумаги, судя по всему, вырванная из школьной тетради. Намокшая под дождем, она вся измялась, вздулась и покрылась волдырями, как обожженная рука. Красная полоска полей слиняла розоватыми подтеками, местами чернила расплылись. Нижнюю часть страницы скрывала засохшая корка грязи. Я наклонился, уже предвкушая, как дотронусь до этого нежного сырого теста и мои пальцы скатают его в серые комочки... И не смог.

Секунду я стоял нагнувшись, прочел слова: «Диктант. Белая сова» – и распрямился с пустыми руками. Я утратил свободу, я больше не властен делать то, что хочу.

Предметы не должны нас БЕСПОКОИТЬ: ведь они не живые существа. Ими пользуются, их кладут на место, среди них живут, они полезны – вот и все. А меня они беспокоят, и это невыносимо. Я боюсь вступать с ними в контакт, как если бы они были живыми существами!

Теперь я понял – теперь мне точнее помнится то, что я почувствовал однажды на берегу моря, когда держал в руках гальку. Это было какое-то сладковатое омерзение. До чего же это было гнусно! И исходило это ощущение от камня, я уверен, это передавалось от камня моим рукам. Вот именно, совершенно точно: руки словно бы тошнило.

Четверг утром, в библиотеке

Только что, спускаясь по лестнице отеля, я слышал, как Люси в сотый раз плакалась хозяйке, продолжая воцить ступени. Хозяйка отвечала с натугой,

короткими фразами – она еще не успела вставить зубной протез; она была полуголая, в розовом халате и в домашних туфлях. Люси, по своему обыкновению, ходила замарашкой; время от времени переставая натирать ступени, она выпрямлялась на коленях, чтобы взглянуть на хозяйку. Говорила она без передышки, рассудительным тоном.

– По мне, в сто раз лучше, если бы он бабником был, – говорила она. – Я бы на это рукой махнула, лишь бы ему вреда ни было.

Речь шла о ее муже. Эта чернявая коротышка в сорок лет, скопив денег, приобрела себе восхитительного парня, слесаря-монтажника с заводов Лекуэнт. Брак оказался несчастливый. Муж не бьет Люси, не обманывает, но он пьет, каждый вечер он приходит домой пьяным. Дела его плохи – за три месяца он на моих глазах пожелтел и истаял. Люси думает, что это от пьянства. По-моему, скорее от туберкулеза.

– Надо крепиться, – говорит Люси.

Я уверен, это ее гложет, но исподволь, неторопливо: она крепится, она не в состоянии ни утешиться, ни отдалиться своему горю. Она думает о своем горе понемножку, именно понемножку, капельку сегодня, капельку завтра, она извлекает из него барыш. В особенности на людях, потому что ее жалеют, да к тому же ей отчасти приятно рассуждать о своей беде благоразумным тоном, словно давая советы. Я часто слышу, как, оставшись в номерах одна, она тихонько мурлычет, чтобы не думать. Но целыми днями она ходит угрюмая, чуть что никнет и дуется.

– Это сидит вот здесь, – говорит она, прикладывая руку к груди. – И не отпускает.

Она расходует свое горе, как скупец. Должно быть, она так же скупа и в радостях. Интересно, не хочется ли ей порой избавиться от этой однообразной муки, от этого брюзжания, которое возобновляется, едва она перестает напевать, не хочется ли ей однажды испытать страдание полной мерой, с головой уйти в отчаяние.

Впрочем, для нее это невозможно – она зажата.

Четверг, после полудня

«Маркиз де Рольбон внешне был безобразен. Королева Мария-Антуанетта часто называла его своей «милой обезьянкой». И однако, он одерживал победы над всеми придворными дамами, и не фиглярствуя, как урод Вуазенон, а посредством магнетизма, который внушал красавицам страсть, толкавшую их на совершенные безумства. Он интригует, играет довольно двусмысленную роль в деле с ожерельем и после длительных сношений с Мирабо-Тонно и Нерсиа в 1790 году исчезает со сцены. Он появляется вновь уже в России, где прилагает руку к убийству Павла I, а потом отправляется путешествовать в еще более дальние края – Индию, Китай и Туркестан. Он обделывает сомнительные коммерческие дела, составляет заговоры, шпионит. В 1813 году он возвращается в Париж и в 1816-м становится всемогущим: он – единственный наперсник герцогини Ангулемской. Эта капризная старуха, одержимая зловещими воспоминаниями детства, завидев маркиза, расплывается в умиротворенной улыбке. Покровительствуемый ею Рольбон делает погоду при дворе. В марте 1820 года он женится на восемнадцатилетней красавице мадемуазель де Роклор. Маркизу де Рольбону в эту пору исполнилось семьдесят, он на вершине почестей, жизнь его достигла апогея. Семь месяцев спустя по обвинению в измене он арестован, брошен в темницу, где умирает, пробыв в заключении пять лет и так и не дождавшись расследования своего дела».

Я с грустью перечитал эту заметку Жермена Берже[7 - Берже Жермен. Мирабо-Тонно и его друзья. Шампньон. 1906. С. 406. Прим. 2. (Прим. издателей)]. С этих нескольких строк и началось мое знакомство с маркизом де Рольбоном. Как он меня обворожил, как я влюбился в него по прочтении этих скупых слов! Из-за него, из-за этого маленького человечка, я и оказался здесь. Возвратившись из своих странствий, я с таким же успехом мог обосноваться в Париже или в Марселе. Но большая часть документов, связанных с длительными периодами жизни маркиза во Франции, сосредоточена в муниципальной библиотеке Бувилья. Рольбон владел родовым поместьем в Маромме. До войны в этом местечке еще жил один из его потомков, архитектор Рольбон-Кампуире, который умер в 1912 году, завещав бувильской библиотеке богатейший архив: письма маркиза, часть его дневника, разного рода документы. Я до сих пор еще не все разобрал.

Я рад, что нашел свои заметки. Я не перечитывал их десять лет. Мне кажется, мой почерк изменился: раньше он был более убористым. Как я любил в тот год маркиза де Рольбона! Помню, однажды вечером (это было во вторник) я целый день проработал в библиотеке Мазарини. По переписке маркиза 1789–1790 годов

я угадал, как ловко он провел Нерсиа. Было темно, я шел по авеню Мен и на углу улицы Гэте купил себе жареных каштанов. Ох, и счастлив же я был! Я смеялся про себя, воображая, какую физиономию скорчил Нерсиа, вернувшись из Германии. Образ маркиза вроде этих чернил – с тех пор как я начал им заниматься, он заметно выцвел.

Прежде всего я не могу понять его поведения начиная с 1801 года. И дело не в том, что не хватает документов, – сохранились письма, обрывки воспоминаний, секретные донесения, архивы полиции. Документов, наоборот, едва ли не слишком много. Но этим свидетельствам недостает определенности, основательности. Они не противоречат друг другу, нет, но и не согласуются друг с другом. Словно речь в них идет не об одном и том же человеке. И однако, другие историки работают с материалами такого рода. Как же поступают в подобных случаях они? Что я, более дотошен или менее проницателен? Впрочем, такая постановка вопроса меня совершенно не волнует. Чего я, собственно говоря, ищу? Не знаю. В течение долгого времени Рольбон-человек интересовал меня куда больше, чем книга, которую я должен написать. А теперь этот человек... человек начал мне надоедать. Теперь мне важна книга, я чувствую все большую потребность ее написать – пожалуй, тем большую, чем старше становлюсь сам. И впрямь можно допустить, что Рольбон принял деятельное участие в убийстве Павла I, что потом он согласился стать царским шпионом на Востоке, но все время предавал Александра в пользу Наполеона. Он вполне мог в эту же пору поддерживать переписку с графом д'Артуа, посылая тому не имеющие никакой ценности донесения, чтобы уверить графа в своей преданности, – все это вполне правдоподобно. Фуше в это же время играл комедию куда более сложную и опасную. Возможно также, что маркиз ради собственной выгоды продавал ружья азиатским государствам.

Да, бесспорно, все это он мог делать. Но это не доказано; я начинаю думать, что доказать вообще никогда ничего нельзя. Все это частные гипотезы, опирающиеся на факты, – но я чувствую, что исходят они от меня, это просто способ обобщить мои сведения. Однако сам Рольбон ни гугу. Вялые, ленивые, угрюмые факты группируются в том порядке, какой им придал я, но этот порядок навязан им извне. У меня такое чувство, будто в процессе работы я просто отдавался игре собственного воображения. И при этом, я уверен, пиши я роман, его персонажи были бы более правдивыми или во всяком случае более забавными.

Пятница

Три часа. Три часа – это всегда слишком поздно или слишком рано для всего, что ты собираешься делать. Странное время дня. А сегодня просто невыносимое.

Холодное солнце выбелило пыль на оконных стеклах. Бледное, белесоватое небо. Утром подморозило ручейки.

Я сижу у калорифера, вяло переваривая пищу. Я знаю заранее – сегодняшний день потерян. Ничего путного мне не сделать, разве когда стемнеет. И все из-за солнца: оно подернуло позолотой грязную белую мглу, висящую над стройкой, оно струится в мою комнату, желтоватое, бледное, ложась на мой стол четырьмя тусклыми, обманчивыми бликами.

На моей трубке мазок золотистого лака, вначале он привлекает взор своей иллюзорной праздничностью, но вот ты глядишь на трубку, и лак плавится, и не остается ничего, кроме куска дерева, и на нем большое блеклое пятно. И так со всем, решительно со всем, даже с моими руками. Когда бывает такое солнце, лучше всего лечь спать. Но этой ночью я спал как убитый – сна у меня ни в одном глазу.

Мне так нравилось вчерашнее небо – стиснутое, черное от дождя, которое прижималось к стеклам, словно смешное и трогательное лицо. А нынче солнце не смешное, куда там... На все, что я люблю: на ржавое железо стройки, на подгнившие доски забора – падает скупой и трезвый свет, точь-в-точь взгляд, которым после бессонной ночи оцениваешь решения, с подъемом принятые накануне, страницы, написанные на одном дыхании, без помарок. Четыре кафе на бульваре Виктора Нуара, которые ночью искрятся огнями по соседству друг с другом, – ночью они не просто кафе, это аквариумы, корабли, звезды, а не то огромные белые глазницы – утратили свое двусмысленное очарование.

Отличный день, чтобы критически оценить самого себя: холодные лучи, которые солнце бросает на все живое, словно подвергая его беспощадному суду, в меня проникают через глаза: мое нутро освещено обесценивающим светом. Я знаю, мне хватит четверти часа, чтобы дойти до крайней степени отвращения к самому себе. Дудки. Мне это ни к чему. Не стану я также перечитывать то, что написал накануне о пребывании Рольбона в Санкт-Петербурге. Я сижу, уронив руки, или пишу какие-то жалкие слова, зеваю и жду, чтобы настал вечер. Когда стемнеет, я вместе со всеми окружающими предметами вырвусь из этой мути.

Принимал Рольбон или нет участие в убийстве Павла I? На сегодня это главный вопрос: я уперся в него и, пока его не решу, не могу двинуться дальше.

Если верить Черкову, маркиза купил граф Пален. Большая часть заговорщиков, утверждает Черков, хотела только низложить царя и заточить в тюрьму. (Кажется, Александр и в самом деле был сторонником такого решения.) Но Пален стремился покончить с Павлом раз и навсегда. Маркизу Рольбону поручено было, переговорив с каждым из заговорщиков по отдельности, склонить их всех к убийству.

«Он каждому из них нанес визит и с необыкновенной выразительностью представил в лицах сцену, которая должна разыграться. Таким образом он пробудил, а может быть усилил, в них жажду убийства».

Но Черкову я не доверяю. Это не трезвый свидетель, а полусумасшедший знахарь-садист: он всегда все сводит к демонизму. Я совершенно не представляю маркиза де Рольбона в этой мелодраматической роли. Он в лицах изобразил сцену убийства? Полноте! Маркиз – человек холодный, ему не свойственно увлекать, он не живописует, он внушает, и этот способ воздействия, бесцветный и невыразительный, может найти отклик только у людей его пошиба – рассудочных интриганов, политиков.

«Адемар де Рольбон, – писала мадам де Шарьер, – рассказывая, не рисовал картин, не жестикулировал, не разнообразил интонации. Он говорил, полузакрыв глаза так, что сквозь сомкнутые ресницы едва просвечивал ободок его серых зрачков. Всего несколько лет назад я решилась наконец признаться самой себе, что он наводит на меня невыносимую скуку. Его разговоры напоминают сочинения аббата Мабли».

И этот человек своим мимическим даром способен был... Хотя в таком случае как ему удавалось соблазнять женщин? К тому же Сегюр описывает забавный случай, который кажется мне правдоподобным:

«В 1787 году неподалеку от Мулена на постоялом дворе умирал старик, друг Дидро, воспитанный на сочинениях философов. Окрестные священники выбились из сил: старик не желал принять соборование – он был пантеистом. Проезжавший мимо маркиз де Рольбон, который не верил ни в Бога, ни в черта, побился об заклад с муленским кюре, что ему не понадобится и двух часов,

чтобы вернуть больного в лоно христианской церкви. Кюре принял пари и проиграл: больной, за которого маркиз взялся в три часа ночи, в пять утра исповедался и в семь утра умер. «Неужели вы так сильны в диспуте? – спросил кюре. – Вы заткнули за пояс всех нас!» – «А я вовсе не затевал диспута, – ответил маркиз. – Я просто запугал его адом».

Так вот, верно ли, что он принимал деятельное участие в заговоре? В тот вечер, около восьми, офицер из числа друзей маркиза проводил Рольбона до дверей его дома. Если Рольбон снова вышел, как он мог пройти по улицам Санкт-Петербурга и не попасть под арест? Полубезумный Павел отдал приказ после девяти вечера задерживать всех прохожих, кроме повитух и врачей. Неужто поверить нелепой легенде, будто Рольбон, чтобы добраться до дворца, переоделся повитухой? Впрочем, маркиз был на это способен. Так или иначе, по-видимому, доказано, что в ночь убийства дома его не было. Судя по всему, Александр всерьез подозревал Рольбона, потому что после воцарения поспешил удалить маркиза под предлогом какого-то невнятного поручения на Дальний Восток.

Маркиз де Рольбон мне смертельно надоел. Я встаю. Передвигаюсь в худосочном освещении и вижу, как оно меняется на моих руках, на рукавах моей рубашки, – не могу выразить, до чего оно мне противно. Зеваю. Зажигаю настольную лампу – может, ее свет заглушит дневной. Нет, лампа образует только жалкую лужицу вокруг своей подставки. Гашу лампу, снова встаю. На стене зияет белая дыра – зеркало. Это ловушка. И я знаю, что попадусь в нее. Так и есть. В зеркале появилось нечто серое. Подхожу, гляжу и отойти уже не могу.

Это отражение моего лица. В такие гиблые дни я часто его рассматриваю. Ничего я не понимаю в этом лице. Лица других людей наделены смыслом. Мое – нет. Я даже не знаю, красивое оно или уродливое. Думаю, что уродливое – поскольку мне это говорили. Но меня это не волнует. По сути, меня возмущает, что лицу вообще можно приписывать такого рода свойства – это все равно что назвать красавцем или уродом горсть земли или кусок скалы.

Впрочем, есть одна вещь, которая радует глаз: повыше вялого пространства щек, повыше лба мой череп золотит прекрасное рыжее пламя – мои волосы. Вот на них смотреть приятно. По крайней мере, это совершенно определенный цвет, и я доволен, что я рыжий. В зеркале это особенно бросается в глаза – волосы лучатся. Все-таки мне повезло: если бы мой лоб украшала тусклая шевелюра, из тех, что никак не могут решиться, пристать им к блондинам или к шатенам, лицо мое расплылось бы мутным пятном, и меня воротило бы от него.

Мой взгляд медленно и неохотно скользит вниз – на лоб, на щеки: ничего устойчивого, все зыбко. Само собой, нос, глаза и рот на месте, но все это лишено смысла, лишено даже человеческого выражения. Однако Анни и Велин находили, что у меня живая физиономия, – может, я к ней просто слишком привык. В детстве моя тетка Бижуга говорила мне: «Будешь слишком долго глядеться в зеркало, увидишь в нем обезьяну». Но должно быть, я гляделся еще дольше – то, что я вижу в зеркале, куда ниже обезьяны, это нечто на грани растительного мира, на уровне полипов. Я не отрицаю, это нечто живое, но не об этой жизни говорила Анни; я вижу какие-то легкие подергивания, вижу, как трепещет обильная, блеклая плоть. С такого близкого расстояния в особенности отвратительны глаза. Нечто стеклянистое, податливое, слепое, обведенное красным – ну в точности рыба чешуя.

Всей тяжестью навалившись на фаянсовую раму, я приближаю свое лицо к стеклу, пока оно не упирается в него вплотную. Глаза, нос, рот исчезают – не остается ничего человеческого. Коричневатые морщины по обе стороны горячечно вспухших губ, трещины, бугорки. Широкие покатости щек покрыты светлым шелковистым пушком, из ноздрей торчат два волоска: ну прямо рельефная карта горных пород. И несмотря ни на что, этот призрачный мир мне знаком. Я не то чтобы УЗНАЮ его подробности. Но все вместе вызывает у меня ощущение «уже виденного», от этого я тупею и меня потихоньку клонит в сон.

Мне хочется встряхнуться – живое, резкое ощущение помогло бы мне. Я прижимаю левую ладонь к щеке и оттягиваю кожу – в зеркале гримаса. Половина моего лица съехала в сторону, левая часть рта скривилась, вздулась, обнажив зуб: в расселине показалась белая выпуклость и розовая кровоточащая плоть. Не к этому я стремился – опять ничего нового, ничего твердого, все мягкое, податливое, уже виденное! Засыпаю с открытыми глазами, и вот уже мое лицо в зеркале растет, растет, это огромный бледный, плавающий в солнечном свете ореол...

Просыпаюсь я оттого, что едва не потерял равновесия. Я сижу верхом на стуле, все еще одурелый. Неужели другие тоже так мучаются, изучая свое лицо? Мне кажется, я воспринимаю свое лицо так же, как ощущаю свое тело, – каким-то подспудным органическим чувством. Ну, а другие как? Маркиз де Рольбон, например? Неужели его тоже клонило в сон, когда он видел в зеркалах то, о чем мадам Жанлис говорит: «Его опрятное морщинистое личико, все изрытое оспинами, на котором было написано выражение какого-то особенного плутовства, бросавшееся в глаза, несмотря на все старания маркиза его скрыть.

Он очень заботился о своей прическе, – добавляет мадам Жанлис. – Я ни разу не видела его без парика. Но щеки у него были сизые, едва ли не с черным отливом, потому что у маркиза была густая борода, а он желал бриться сам и делал это очень неумело. Он имел обыкновение, по примеру Гримма, мазаться свинцовыми белилами. Мсье Данжевиль говаривал, что эта смесь синего с белым придает Рольбону сходство с рокфором».

Думаю, что маркиз был занятой личностью. Однако глазам мадам Шарьер он все-таки представлялся совсем иным. Насколько я понимаю, она считала его скорее бесцветным. Может, собственное лицо понять невозможно. А может, это оттого, что я один? Люди, общающиеся с другими людьми, привыкают видеть себя в зеркале глазами своих друзей. У меня нет друзей – может быть, поэтому моя плоть так оголена? Ни дать ни взять – ну да, ни дать ни взять, природа без человека.

Нет охоты работать, все валится из рук – подожду, пока стемнеет.

Половина шестого

Дело плохо! дело просто дрянь: гадина. Тошнота, все-таки настигла меня. На этот раз нечто новое – это случилось в кафе. До сих пор бувильские кафе были моим единственным прибежищем – там всегдалюдно и много света; теперь не осталось и их; а если меня прихватит в моем номере, я и вовсе не буду знать, куда скрыться.

Я пришел, чтобы переспать с хозяйкой, но не успел открыть дверь, как Мадлена, официантка, крикнула:

– А хозяйки нет, она в город ушла, за покупками.

Я ощутил резкое, неприятное чувство внизу живота – долгий зуд разочарования. И в то же время почувствовал, как рубашка трется о мои соски, и меня вдруг взяла в кольцо, подхватила медленная разноцветная карусель; закружила мгла, закружили огни в табачном дыму и в зеркале, а с ними поблескивающие в глубине зала сиденья, и я не мог понять, откуда все это и почему. Я застыл на пороге, потом что-то сместилось, по потолку скользнула тень, меня подтолкнуло вперед. Все плыло, я был оглушен этой сверкающей мглой, которая вливалась в

меня сразу со всех сторон. Подплыла Мадлена, чтобы помочь мне снять пальто; она зачесала волосы назад и надела серьги – я ее не узнавал. Я уставился на ее громадные щеки, которым не было конца и которые убегали к ушам. На щеках, во впадине под выступом скул особняком розовели два пятна, и, казалось, они изнывают от скуки на этой убогой плоти. А щеки все убегали и убегали к ушам, а Мадлена улыбалась.

– Что будете пить, мсье Антуан?

И вот тут меня охватила Тошнота, я рухнул на стул, я даже не понимал, где я; вокруг меня медленно кружили все цвета радуги, к горлу подступила рвота. С тех пор Тошнота меня не отпускает, я в ее власти.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Бобр – дружеское прозвище Симоны де Бовуар.

2

Одно слово пропущено. (Прим. издателей).

3

Одно слово зачеркнуто (не то «искажать», не то «измышлять»), другое, написанное сверху, совершенно неразборчиво. (Прим. издателей).

4

Речь несомненно идет о вечере. Абзац, который за этим следует, написан гораздо позже предыдущих. Мы полагаем, что запись сделана не раньше чем на другой день. (Прим. издателей).

5

На этом недатированный текст обрывается. (Прим. издателей).

6

Ожье П... о котором часто упоминается в дневнике. Он был канцелярским служащим. Рокантен познакомился с ним в 1930 году в бувильской библиотеке. (Прим. издателей).

7

Берже Жермен. Мирабо-Тонно и его друзья. Шампьон. 1906. С. 406. Прим. 2. (Прим. издателей).

Купити: https://telnovel.com/sartr_zhan-pol/toshnota

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)